

Татьяна Толстая

ИЗЮМ



избранное

Татьяна Толстая
Изюм (сборник)

«Студия Артемия Лебедева»

Толстая Т. Н.

Изюм (сборник) / Т. Н. Толстая — «Студия Артемия Лебедева»,

В книгу вошли рассказы о парадоксах нашей повседневной жизни, как в России, так и на Западе. Дополняют издание удивительные по остроте наблюдений путевые заметки автора. «Изюм» — книга для взыскательного читателя и настоящего гурмана слова.

Содержание

Сны	5
Чужие сны	5
Смотри на обороте	8
Любовь и море	12
Небо в алмазах	18
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Татьяна Толстая

ИЗЮМ

Рассказы

Сны

Чужие сны

Петербург строился не для нас. Не для меня. Мы все там чужие: и мужчины, и женщины, и надменное начальство в карете ли, в мерседесе ли, наивно думающее, что ему хоть что-нибудь здесь принадлежит, и простой пешеход, всегда облитый водою из-под начальственных колес, закиданный комьями желтого снега из-под копыт административного рысака. В Петербурге ты всегда облит и закидан – погода такая. Недаром раз в год, чтобы ты не забывался, сама река легко и гневно выходит из берегов и показывает тебе кузькину мать.

Некогда Петр Великий съездил в Амстердам, постоял на деревянных мостиках над серой рябью каналов, вдохнул запах гниющих свай, рыбьей чешуи, водяного холода. Стекланные, выпуклые глаза вобрали желтый негаснущий свет морского заката, мокрый цвет баркасов, шелковую зеленую гниль, живущую на досках, над краем воды. И ослепли.

С тех пор он видел сны. Вода и ее переменчивый цвет, ее обманные облики вошли в его сны и притворялись небесным городом, – золото на голубом, зеленое на черном. Водяные улицы – зыбкие, как и полагается; водяные стены, водяные шпили, водяные купола. На улицах – водянистые, голубоватые лица жителей. Царь построил город своего сна, а потом умер, по слухам, от водянки; по другим же слухам, простудился, спасая тонущих рыбаков.

Он-то умер, а город-то остался, и вот, жить нам теперь в чужом сне.

Сны сродни литературе. У них, конечно, общий источник, а кроме того, они порождают друг друга, наслаиваются, сонное повествование перепутывается с литературным, и все, кто писал о Петербурге, – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый, Блок, – развесили свои сны по всему городу, как тонкую морозящую паутину, сетчатые дождевые покрывала. От бушующих волн Медного всадника и зелено-бледных пушкинских небес до блоковской желтой зари и болотной нежити – город все тот же, – сырой, торжественный, бедный, не по-человечески прекрасный, не по-людски страшенький, неприспособленный для простой человеческой жизни.

Я непременно куплю в Питере квартиру: я не хочу простой человеческой жизни. Я хочу сложных снов, а они в Питере сами роятся из морского ветра и сырости. Я хочу жить на высоком этаже, может быть, в четвертом дворе с видом на дальние крыши из окна-бойницы. Дальние крыши будут казаться не такими ржавыми, какие они на самом деле, и прорехи покажутся таинственными тенями. Вблизи все будет, конечно, другое, потрепанное: загнутые ветром кровельные листы, осыпавшаяся до красного кирпича штукатурка, деревце, выросшее на заброшенном балконе, да и сам балкон с выставленными и непригодившимися, пересохшими до дровяного статуса лыжами, с трехлитровыми банками и тряпкой, некогда бывшей чем-то даже кокетливым.

Особенно хочется дожидаться в питерской квартире поздней осени, когда на улице будет совершенно непереносимо: серые многослойные тучи, как ватник водопроводчика, сырость, пробирающая до костей, секущий, холодный ингерманландский дождь, длинные лужи, глинистые скверы с пьяными. Потом ранняя, быстрая тьма, мотающиеся тени деревьев, лиловатый,

словно в мертвецкой, свет фонарей и опасный мрак подворотен: второй двор, третий двор, ужасный четвертый двор, только не оглядываться.

Да, и еще длинные боковые улицы без магазинов, без витрин с их ложным, будто бы домашним уютом. Слепые темные тротуары, где-то сбоку простроченные шумящими, мокрыми, невидимыми деревьями, только в конце, далеко, в створе улицы – блеск трамвайного рельса под жидким, красным огнем ночного ненужного винного бара.

Кто не бежал, прижав уши, по такой страшной бронхитной погоде, кто не промокал до позвоночника, кто не пугался парадных и подворотен, тот не оценит животное, кухонное, батарейное тепло человеческого жилища. Кто не слышал, как смерть дует в спину, не обрадуется радостям очага. Так что, если драгоценное чувство живой жизни притупилось, надо ехать в Питер в октябре. Если повезет, а везет почти всегда – уедешь оттуда полуживой. Для умерщвления плоти хорош также ноябрь с мокрым, ежеминутно меняющим направление снеговым ветром, а если не сложилась осенняя поездка – отлично подойдет и март. В марте лед на реках уже не крепок, не выдержит и собаки, весь покрыт полыньями, проталинами, синяками, но дует с него чем-то таким страшным, что обдирает лицо докрасна за шестьдесят секунд, руки – за десять.

Непременно, непременно куплю себе квартиру в Питере, слеплю себе гнездо из пуха, слюны, разбитых скорлупок своих прежних жизней, построю хижину из палочек, как второй поросенок, Нуф-Нуф. Натаскаю туда всякой домашней дряни, чашек и занавесок, горшков с белыми флоксами, сяду к окну и буду смотреть чужие сны.

Окон в Питере никогда никто не моет. Почему – непонятно. Впервые я обратила на это внимание в конце восьмидесятых годов, когда началась перестройка. Ясно, что тогда телевизор было смотреть интереснее, чем выглядывать в окно: кого еще сняли?.. что еще разрешили?.. Потом интерес к политике угас, все сели, как замороженные, смотреть мыльные оперы, так что тут тоже стало не до ведер с мыльной водой. Потом жизнь поехала в сторону полного разорения, денег не стало, потолки осыпались на скатерти, а обои свернулись в ленты, и мыть окна стало как-то совсем неуместно. Кроме того, Питеру всегда была свойственна некоторая надменность, горькое презрение к властям всех уровней, от жэка до государя императора: если «они» полагают, что со мной можно так обращаться, то вот вам, милостивый государь, мое немытое окно, получите-с. Но возможны и другие объяснения: нежелание смотреть чужие сны, смутный протест против того, что куда ни повернись – всюду натыкаешься глазом на чужое, на неродное, на построенное не для нас. Или, потеряв статус столицы, Питер опустился, как дряхлеющая красавица? Или в ожидании белых, томительных ночей, выпивающих душу, жители копят пыль на стеклах, чтобы темней было спать? Или же это особое питерское безумие, легкое, нестрашное, но упорное, как бормотание во сне? Когда я осторожно спросила свою питерскую подругу, почему она не моет окон, она помолчала, посмотрела на меня странным взглядом и туманно ответила: «Да у меня вообще ванна в кухне...»

Эта была правда, ванна стояла посреди огромной холодной кухни, ничем не занавешанная, но в рабочем состоянии, при этом в квартире – естественно, коммунальной, – жило двенадцать человек, и, по слухам, мылись в этой ванной, не знаю уж как. И, наверно, это было как во сне, когда вдруг обнаруживаешь, что ты голый посреди толпы, и этого никак не поправить по каким-то сложным, запутанным причинам.

Как и полагается лунатикам, петербуржцы гуляют по крышам. Существуют налаженные маршруты, вполне официальные, и можно собраться небольшой группой и отправиться с небесным поводырем на экскурсию, перебираясь с дома на дом по каким-то воздушным тропам; есть и частные прогулки: через лазы, слуховые окна, чердаки, по конькам крыш, на страшной для бодрствующего человека высоте, но ведь они спят, и им не страшно. С высоты они видят воду, балконы, статуи, сирень, третьи и четвертые дворы, далекие шпили – один с ангелом, другой с корабликом, развешанное белье, колонны, пыльные окна, синие рябые кастрюли

на подоконниках и тот особенный воздух верхних этажей, то серый, то золотой, смотря по погоде, – который никогда не увидишь в низинах, у тротуаров. Мне кажется, что этот воздух всегда был, висел там, на семиэтажной высоте, висел еще тогда, когда города совсем не было, надо было только построить достаточно высокие дома, чтобы дотянуться до него, надо было только догадаться, что он плавает и сияет вон там, надо было запрокинуть голову и смотреть вверх.

Если не запрокидывать голову, то в Питере вообще нечего делать: асфальт как асфальт, пыль или лужи, кошмарные парадные, пахнущие кошками и человеком, мусорные баки, ларьки с кефиром «Петмол». Если же смотреть вверх, от второго этажа и выше, то увидишь совсем другой город: там еще живут маски, вазы, венки, рыцари, каменные коты, раковины, змеи, стрельчатые окна, витые колонки, львы, смеющиеся лица младенцев или ангелов. Их забыли, или не успели уничтожить мясники двадцатого века, гонявшиеся за людьми. Один, главный, все кружил по городу мокрыми октябрьскими вечерами, перепрыгивался, таился, и в ночь на 25 октября, как нас учили в школе, заночевал у некоей Маргариты Фофановой, пламенной и так далее, а может быть, вовсе и не пламенной, – тут вам не Испания, – а обычной, водянистой и недальновидной дамы с лицом белым и прозрачным, как у всех, кто умывается невиской водой. На рассвете, подкрепившись хорошим кофе и теплыми белыми булочками с вареньем из красной смородины, он выскользнул в дождевую мглу и побежал в Смольный: составлять списки жертв, прибирать к рукам то, что ему не принадлежало, ломать то, что не строил, сбивать лепнину, гадить в парадных, сморкаться в тюль, разорять чужие сны, а в первую очередь расстреливать поэтов и сновидцев. Хорошо ли ему спалось на пуховичках у Фофановой, или он весь извертелся, предвкушая мор и глад? Сладко ли спалось пламенной Маргарите, или же к ней приходил предзимний кошмар, суккуб с членами ледяными как ружейные стволы? Этого в школе не рассказывают, там вообще ничему важному не учат, – ни слова, например, о конструировании и размножении снов, а между тем, есть сон, в котором Маргарита, увидев, в свою очередь, другой сон, – какой, мне отсюда плохо видно, мешает угол дома, – тихо встает с лежанки, прихватив с собой подушку-думочку, – небольшую, размером как раз с лицо, тихо входит к похрапывающему, жуткому своему гостю и во имя всех живых и теплых, невинных и нежных, ни о чем не подозревающих, во имя будущего, во имя вечности плотно накладывает плотную, жесткую, бисерными розами вышитую подушечку на рыжеватое рыльце суккуба, на волосатые его дыхательные отверстия, насморочные воздухопроводы, жевательную щель. Плотноплотноплотно накладывает, наваливается пламенным телом, ждет, пока щупальца и отростки, бюющиеся в воздухе, ослабеют и затихнут. И город спасен.

Никакие сны не проходят бесследно: от них всегда что-нибудь остается, только мы не знаем, чьи они. Когда на Литейном, в душном пекле лета, глаз ловит надпись на табличке в подворотне: «Каждый день – крокодилы, вараны, рептилии!» – что нужно об этом думать? Кто тут ворочался в портвейновом кошмаре, кто обирал зеленых чертей с рукава? Кто послал этот отчаянный крик и откуда – с привидевшейся Амазонки, с призрачного Нила, или с иных, безымянных рек, тайно связанных подземной связью с серыми невискими рукавами? И чем ему можно помочь?

Никому ничем нельзя помочь, разве что жить здесь, видеть свои собственные сны и развешивать их по утрам на просушку на балконных перилах, чтобы ветер разносил их, как мыльную пену, куда попало: на верхушки тополей, на крыши трамваев, на головы избранных, несущих, как заговорщики, белые флоксы – тайные знаки возрождения.

Смотри на обороте

Горячий майский день в Равенне, маленьком итальянском городке, где похоронен Данте. Когда-то – в самом начале пятого века Р. Х. – император Гонорий перенес сюда столицу Западной Римской Империи. Когда-то здесь был порт, но море давно и далеко отступило, и его место заняли болота, розы, пыль и виноград. Равенна знаменита своими мозаиками, и толпы туристов передвигаются из одного храма в другой, чтобы, задирая головы, рассмотреть тускловатый блеск мелкой разноцветной смальты там, высоко, под сумеречными сводами. Что-то видно, но не очень хорошо. На глянцевых открытках видно лучше, но очень уж ярко, плоско и дешево.

Мне душно, жарко, пыльно. Мне смутно на душе. Мой отец умер, а я его так любила! Когда-то, давным-давно, лет сорок назад, мимоходом, он был здесь, в Равенне, и прислал мне отсюда открытку с изображением одной из знаменитых мозаик. На обороте надпись – почему-то карандашом, видимо, впопыхах: «Дочка! Ничего прекраснее (смотри на обороте) я в жизни своей не видел! Плакать хочется! Ах, если бы ты была здесь! Твой отец!»

Каждая фраза заканчивается дурацким восклицательным знаком – он был молодой, он был веселый, может быть, он выпил вина. Я вижу его в заломленной на затылок фетровой шляпе – по моде конца пятидесятих годов, с сигаретой в белых, тогда еще собственных, зубах, с мелкими капельками пота на лбу, – высокий, стройный, красивый; глаза его счастливо сияют под круглыми стеклышками очков... На открытке, которую он бросил в почтовый ящик, легкомысленно доверив ее двум ненадежным почтам – итальянской и русской, – рай. Господь сидит посреди ослепительно зеленого, вечно весеннего рая, вокруг него пасутся белые овечки. Две ненадежные почты, русская и итальянская, обломили и затрепали углы открытки, но ничего, послание получено, все в общем-то можно разглядеть.

Если рай существует, то отец там. Где же ему еще быть? Вот только он умер, умер, и больше не пишет мне открыток с восклицательными знаками, больше не посылает весточек из всех точек земли: я тут, я тебя люблю, любишь ли ты меня? радуешься ли вместе со мной? видишь ли ту красоту, которую я сейчас вижу? привет тебе! вот открытка! вот дешевая, глянцевая фотография – я тут был! тут замечательно! ах, если бы и ты могла тоже!

Он объездил весь мир, и мир понравился ему.

Теперь я, по мере возможности, иду по его следам, еду в те города, где он был, и пытаюсь увидеть их его глазами, пытаюсь представить себе его, молодого, заворачивающего за угол, поднимающегося по ступеням, облокотившегося на парапет набережной с сигаретой в зубах. Вот сейчас я в Равенне, пыльной, душной, утомительной, как все туристские места, с толпами на узких улочках. Мертвый, суетный, жаркий город, и негде присесть. Могила Данте, изгнанного из родной Флоренции. Могила Теодориха. Мавзолей Галлы Плацидии, сестры Гонория, того самого, что сделал Равенну столицей Империи. Прошло пятнадцать столетий. Все переменялось. Все запылилось, мозаика осыпалась. То, что было некогда важно, – стало неважно, то, что волновало, – ушло в песок. Само море ушло, и на месте, где плескались веселые зеленые волны, теперь пустоши, пыль, безмолвие, горячие виноградные плантации. Сорок лет назад – жизнь назад – мой отец ходил и смеялся тут, и шурил близорукие глаза, и присаживался за уличные столики, и пил красное вино, и откусывал пиццу собственными, крепкими зубами. И спускалась синяя ночь. И на краешке стола, карандашом, он писал мне торопливые слова своего восторга и любви к этому миру, расставляя как попало восклицательные знаки.

Душное облачное небо. Жарко, но солнца не видно. Пыль. То, что некогда было морским дном, теперь лежит вокруг городка широкими плодородными полями; там, где ползали крабы, теперь ходят ослы, на месте водорослей разрослись розы. Все умерло и заглохло, и по некогда блистательной столице Западного мира бродят разочарованные американские туристки в розовых распашонках, недовольные тем, что их опять обмануло туристское бюро: в этой Европе

все такое мелкое, такое маленькое, такое старое! Пятнадцать столетий. Могила Данте. Могила Галлы Плацидии. Могила моего отца. Какой-то наивный зеленый рай на помятой открытке.

Что его здесь так поразило? Я нахожу нужный храм, я смотрю наверх – да, что-то зеленое, там, высоко под сводом. Белые овцы на зеленом лугу. Обыденный, тускловатый свет. Разноголосый говор туристов внизу. Показывают пальцами, ищут пояснения в путеводителях. Такой-то век, такое-то искусство. Все как всюду, как всегда. Плохо видно.

В каждом итальянском храме на стене висит коробка для денег – дополнительная услуга для интересующихся. Если опустить туда триста лир – четверть доллара, – то на несколько мгновений под потолком загораются яркие прожекторы, освещая свежим белым светом камешки мозаичного узора. Краски становятся ярче. Видны детали. Толпа возбуждается, и гул ее становится громче. Всего лишь четверть доллара. Все равно ведь вы приехали сюда издалека, заплатили за самолет, за поезд, за гостиницу, за пиццу, за прохладительные напитки, за кофе. Вам что, жалко еще нескольких центов?.. Но многим жалко. Они недовольны: их не предупреждали. Они хотят видеть рай даром. Кучка туристов ждет, пока кто-нибудь один, щедрый и нетерпеливый, опустит монетку в прорезь жульнического итальянского аппарата – все итальянцы жулики, правда ведь? – и тогда вспыхнут прожекторы, и на короткий, недостаточный для человеческого глаза миг рай станет зеленее, овцы – невиннее, Господь – добрее. Толпа рокочет громче... – но свет гаснет, и гул разочарованных туристов на миг складывается в ропот протеста, в ворчание жадности, в шепот разочарования. И опять все подернуто сумраком.

Я бреду из церкви в церковь вместе с толпой, слушаю приглушенный разноязыкий говор, похожий на морской шум, меня крутит в медленных людских водоворотах, мелькают бессмысленные усталые лица – такие же бессмысленные, как мое, – блестят стекла очков, шуршат страницы путеводителей. Я протискиваюсь в узкие двери храмов, стараясь оттеснить ближнего, стараясь, так же, как и каждый, занять место получше, стараясь не очень раздражаться. Ведь если рай и правда существует, – думаю я, – то войду я в него вместе с такой же, точно такой же толпой овец, толпой людей – старых, неумных, жадноватых. Ибо если рай не для нас, то для кого же, интересно знать? Разве есть другие, особенные, те, что заметно лучше нас, обычных, среднестатистических?

Нету их, и очень может статься, что брести по зеленым лугам мне придется в стаде американских туристов, недовольных тем, что тут все такое древнее и невысокое. А если это так, то это значит, что в раю – скучно и плохо, чего быть не должно по определению. В раю должно быть изумительно прекрасно.

«Ничего прекраснее (смотри на обороте) я в жизни своей не видел!» – написал мне отец. Смотрю на обороте. Обычный рай. Что же он видел такого, чего я не вижу?

Вместе с толпой я втискиваюсь в маленькое здание, о котором русский путешественник начала века, Павел Муратов, написал в свое время в знаменитой книге «Образы Италии»:

«Необычайно и как-то непостижимо глубок очень темный синий цвет на потолке Мавзолея Галлы Плацидии. В зависимости от игры света, проникающего сюда через маленькие оконца, он изумительно и неожиданно прекрасно переливает то зеленоватыми, то лиловыми, то багряными оттенками. На этот фон положено знаменитое изображение юного Доброго пастыря, сидящего среди белоснежных овец. Полукруги у окон украшает крупный орнамент с оленями, пьющими из источника. Гирлянды листьев и плодов выются по низеньким аркам. При виде их великолепия невольно думается, что человечество никогда не создавало лучшего художественного средства для убранства церковных стен. И здесь благодаря крохотным размерам надгробной часовни мозаика не кажется делом суетной и холодной пышности. Сияющий синим огнем воздух, которым окружен саркофаг, некогда содержавший набальзамированное тело императрицы, достоин быть мечтой пламенно-религиозного воображения. Не к этому ли стремились, только другим путем, художники цветных стекол в готических соборах?»

Чудные слова! Но, протиснувшись в часовню, я ничего не вижу. Может быть, для Муратова в свое время проводник освещал храм факелом, но сейчас здесь попросту темно, и тот скупой свет, что еле-еле проникает из окон, заслонен спинами туристов. Толпа стоит плотно и упрямо, локоть к локтю. Надо бросать монеты в осветительную коробку, но никто не торопится, каждый ждет, что это сделает кто-нибудь другой. Я тоже не спешу. «Я уже много раз бросала, – внутренне оправдываюсь я, – пусть теперь другие». Проходит минута в душной тьме. Другая минута. «Не уступлю», – думает каждый. Тьма давит на голову. Пахнет мышами, плесенью, и еще чем-то очень старым, – как если бы так пахло само время. Потом проступают людские запахи – стареющей плоти, духов, мятных таблеток, пота, табака. Вот так будет сразу после смерти: темнота, чье-то дыхание и сопение в темноте, жара, ожидание, неуловимая неприязнь к попутчикам, вежливая решимость эту неприязнь не показывать, маленький эгоизм, упрямство, надежда, сомнение. Зал ожидания на пути в рай – куда же еще? «Ничего прекраснее (смотри на обороте) я в жизни своей не видел! Плакать хочется!» – написал отец из рая.

Наконец раздается характерный щелчок – кто-то все же решился, и, как и прежде, на несколько мгновений зажигается свет. На кратчайший миг – глаз не успевает охватить потолок, глаз мечется, – на кратчайший миг тупая и жаркая тьма над головой внезапно становится звездным небом, темно-синим куполом с огромными, переливающимися, близко приближенными к глазам звездами. «А-ахх!» – раздается внизу, и свет гаснет, и снова тьма, еще темнее прежней. И снова щелчок, и снова фантастические, разноцветные звезды, словно крутящиеся колеса, и тот самый «горящий синим огнем воздух» – секундное видение, – и снова мрак. И опять звяканье падающей монетки, опять щелчок, – дивное видение, не уходи, побудь с нами! – и опять удар темноты. Как заколдованная стоит толпа грешников, подняв вверх лица. Во тьме открылся путь, дано обещание, предъявлено доказательство, все будут спасены, не надо никаких объяснений – волшебная синяя бездна, воздвигнутая над нами безымянными художниками, сама говорит, поет на языке без слов. Синева стекает вниз, к корзинам с плодами и листьями... все исчезает, но снова и снова вспыхивает свет, и праздник становится бесконечным, и вот-вот раздастся пение ангелов. Да будет свет!

Я осторожно протискиваюсь сквозь толпу, я хочу посмотреть украдкой на того нена сытного, что устроил фейерверк, раздвигая светом стены гробницы. Он сидит в инвалидном кресле, опустив лицо. На коленях у него коробка с монетами. Он нашаривает монету рукой, пропихивает ее в щель автомата, и в короткое мгновение, пока синева переливает лиловым и багряным огнем, женщина-поводырь торопливо шепчет ему на ухо слова, которых я не слышу, да и услышав, не пойму: этот язык мне неизвестен.

Этот человек – слепой. У него замкнутое и терпеливое лицо, как у всех слепых, веки сомкнуты, голова опущена, ухо он склонил к своей спутнице. Кто она ему – дочь, или жена, или просто нанятая для путешествия компаньонка? Он слушает ее шепот и изредка коротко кивает головой: да. Да. Он хочет слушать еще, он кидает монету за монетой. Он бросает монеты в темноту, и из темноты раздается голос, который рассказывает, как умеет, о великом утешении красотой.

Он дослушал, и кивнул, и улыбнулся, и женщина, ловко управляясь в толпе с инвалидным креслом, развернула его и выкатила из Мавзолея. На них смотрели: ему было все равно, а ей, должно быть, привычно. Кресло запрыгало по мощенной камнями площади, причиняя мелкие дополнительные муки сидящему. Из тучи покапал дождь, но сразу перестал.

«Смотри на обороте»! Но на обороте ничего нет, на обороте лишь темнота, жара, молчание, раздражение, сомнение, уныние. На обороте – затертое от старости изображение чего-то, что было важно давным-давно, но не для меня. «Плакать хочется», – писал отец сорок лет назад о красоте, поразившей его тогда (и может быть, о чем-то большем), мне же хочется плакать, потому что его больше нет, и я не знаю, куда он ушел, и от него осталась только гора бумаг, и вот эта открытка с зеленым раем, которую я перекладывала, как закладку, из книги в книгу.

Но, может быть, все не так, может быть, все было задумано давным-давно, и все шло по плану, и отозвалось только сегодня? Неизвестному византийскому мастеру, одухотворенному верой, представилась красота Господнего сада. Как мог, он выразил ее на своем языке, может быть, досадуя, что не хватает сил на большее. Прошли века, мой отец приехал в Равенну, поднял голову, увидел изображение Эдема, купил дешевенькое изображение его изображения, с любовью послал мне его, подкрепив для верности восклицательными знаками – каждый выбирает свой язык. И если бы он ее не послал, я не приехала бы сюда, не пришла в темную часовню, не встретила слепого, не увидела бы, как по мановению его руки на обороте тьмы вспыхивает синий свет райского преддверия.

Ибо мы так же слепы, нет, мы в тысячу раз более слепы, чем этот старый человек в коляске. Нам шепчут, но мы затыкаем уши, нам показывают, но мы отворачиваемся. У нас нет веры: мы боимся поверить, потому что боимся, что нас обманут. Мы уверены, что мы – в гробнице. Мы точно знаем, что во тьме ничего нет. Во тьме ничего быть не может.

А они удаляются по узким улочкам маленького мертвого города, и женщина толкает коляску, и что-то говорит, склоняясь к уху слепого, и запинаясь, наверное, и подбирает слова, какие мне никогда не подобрать. Он смеется чему-то, и она поправляет его завернувшийся воротник, она подсыпает монет в коробку на его коленях, она заходит в таверну и выносит ему кусок пиццы, и он ест, благодарно, старательно и неряшливо, нашаривая в темноте рукой невидимую и чудесную еду.

Любовь и море

В чеховском рассказе «Дама с собачкой» есть загадочный пассаж.

«В Ореанде [они] сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листья не шевелились на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, который ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки – моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве».

Зачем Чехову в рассказе о любви, внезапно случившейся с людьми, которые ее никак не предвидели и не ожидали, понадобилось это отступление, поэтическое размышление о вечности, равнодушной к нашему существованию? И почему в этом равнодушии – залог спасения?

Конец отрывка, по-видимому, более прозрачен: природа прекрасна и гармонична, а мы – нет. В ней есть некая высшая цель, а мы ведем себя недостойно, безобразно. Гуров только что склонил к адюльтеру замужнюю, неопытную молодую женщину, которую он нисколько не любит и через несколько дней забудет навсегда. Это немножко нехорошо, но очень по-человечески. Он сам понимает это, но не очень расстраивается и будет продолжать вести себя точно так же и сегодня, и завтра, ибо ничего больше не умеет, ничего другого не знает. Когда через несколько дней он простится с Анной Сергеевной навсегда, когда он будет провожать ее на вокзале, он будет чувствовать так:

«Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние... Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным: очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее...»

Это понятно, это по-человечески, но почему все же залог спасения – в равнодушии моря, в равнодушии мертвой вечности?

Между тем Гуров сидит на скамейке, созерцая равнодушную красоту и еще не подозревает о том, что с ним что-то случилось. А оно уже случилось.

Проходит месяц, и другой, и он осознает, что женщина, встреченная на юге, не отодвинулась в прошлое, не покрылась туманом, но неотступно с ним, в его жизни. «Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним... Она по вечерам глядела на него из книжного шкапа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды».

И однажды он, задетый невинным замечанием приятеля, вдруг осознает, что весь мир, окружающий его, резко переменяется:

«Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унижительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!»

Буквально только что, до своего отъезда на юг, Гуров принадлежал этой жизни в полной мере, сам много пил, ел, говорил, заводил романы с разными женщинами и получал удоволь-

ствие от полноценности своего существования. Так что на самом деле перемена происходит не в мире, но в нем самом. Он не хотел ее, не просил, не предполагал, но она уже случилась.

Когда и как это произошло? И что, собственно, произошло? «О чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне?..»

Гуров соблазнил Анну Сергеевну механически, привычно, как поступил бы с любой сколько-нибудь заинтересовавшей его женщиной. Он задумывает свой летний роман с ней, еще не зная ее имени. Просто «дама с собачкой». А могла бы быть «дама с сумочкой», «дама в шляпе», «дама с родинкой» – нечто безымянное, родовое, часть природы, с маленькой отличительной деталью, с украшением. Прекрасная дама как часть той самой природы, в которой «все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве».

«Соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им».

И свое знакомство с ней он начинает через ее побрякушку, через собачку:

«Он ласково поманил к себе шпица, и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил».

Это – модель гуровского обращения с женщинами: ласково поманил, а когда подошли поближе, погрозил. Подойди, но не слишком близко.

В эти дни мимолетного, обреченного на скорый конец романа Гуров оценивает Анну Сергеевну едва ли не как часть природы. «Что-то в ней есть жалкое все-таки, – подумал он и стал засыпать», «Гуров, глядя на нее теперь, думал: Каких только не бывает в жизни встреч!». Анна Сергеевна стыдится своего грехопадения, и «Гурову уже было скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное...»

«На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании».

Полчаса – это очень много, и внимательный читатель рассказа должен сам заполнить это длинное молчание тихими звуками поедаемого, холодного арбуза, непоказанными, необозначенными мыслями персонажей, их чувствами: унынием и душевным дискомфортом женщины и терпеливым равнодушием мужчины, переживающим, пока посткоитальная скука пройдет и нарушенный баланс эмоций восстановится. Между тем, единственная фраза, обозначившая телесное соитие, не имеет никакого отношения к телесному восторгу, которого ждали, которого хотели оба любовника: «...и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучался в дверь».

«Кто-то» постучался, и, очевидно, вошел. «Кто-то» невидимый, незванный, тот, кто ходит где хочет, приходит тогда, когда сам захочет прийти. «Кто-то», кто выбирает случайных людей – совершенно обычную, ничем не особенную, одну из многих Анну Сергеевну, совершенно обычного, каких много, стареющего Гурова. Этот «кто-то» приходит не для того, чтобы принести радость и красоту, – радоваться и любоваться они и без него умеют. Он приходит не для того, чтобы облегчить жизнь: после его визита жить героям становится бесконечно труднее, чем раньше, они будут обманывать близких, и лжи в их жизни сильно прибавится. Но он приходит – и все переворачивается, превращается, сдвигается, осмысливается.

Гуров «спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить». И он решается поехать в серый, пыльный, провинциальный город С., где живет Анна Сергеевна. «Он все ходил по улице и около забора поджидал этого случая... Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка. А за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилося сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица».

Читатель тоже так и не узнает имени собаки. Да, собственно, с этого момента он больше и не услышит о ней. Здесь поразительно то, что Гуров забыл имя собаки не потому, что собака играет в рассказе мелкую, вспомогательную роль. Наоборот. Гуров забывает ее имя «от волнения»: его чувства смятены этим маленьким белым животным, при взгляде на него у героя бьется сердце. Собака, которую недавно, на юге, он использовал как предлог для знакомства с женщиной, собака, которой в рассказе и места-то почти не уделено, которая неизвестно где находилась в грешные часы, которые проводил Гуров в номере гостиницы с Анной Сергеевной, собака, с которой Гуров не попрощался, словно не заметив, на вокзале (нам ничего об этом не сказано, словно она невидима), – эта ничтожная, декоративная собачка вдруг становится личностью, важным, дорогим существом, способным взволновать до сердцебиения. Собака больше не часть равнодушной природы, в которой «все прекрасно», она почти человек.

Гуров едет в театр, рассчитывая встретить там Анну Сергеевну, и она, правда, оказывается там.

«Когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека: она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал».

С чеховским героем происходит ПРЕОБРАЖЕНИЕ, без всякой причины, без всякого объяснения, нипочему. Эта, самая большая и таинственная правда, которая известна, навверное, каждому, не объяснима ничем, кроме вмешательства сил метафизических, духовных, тех, что выше нас, тех, что могут невидимо «постучать в дверь». «Ничем не замечательная» Анна Сергеевна, непонятно почему полюбившая Гурова и необъяснимо необходимая ему, заменившая весь мир, – один из самых прекрасных и волнующих персонажей в литературе, а рассказ «Дама с собачкой» по праву считается шедевром, хотя что в нем такого происходит? Да ничего, кроме чуда. После того, как Гуров осознает, что не может жить без Анны Сергеевны, встречи их – на этот раз в Москве, куда она тайно приезжает, – на первый взгляд, бесконечно скучны, банальны, пошлы, неотличимы от их южных встреч, разве что тогда сияло солнце, а сейчас идет мокрый снег. Но это именно на первый взгляд. Герои делают все то же, что делали и тогда: Анна Сергеевна плачет, а Гуров терпеливо переживает, пока она наплачется. Тогда, на юге, он ел холодный арбуз, а теперь, на севере, он пьет горячий чай. Внешнее уличное тепло сменяется холодом, а внутреннее, интимное, наоборот: холод становится теплом. Герои стали другими.

Русская классическая литература стыдлива и целомудренна в описании сцен любви, но Чехов оставляет подробности адюльтера вне поля зрения читателя не по этой причине, а просто потому, что адюльтер тут не при чем. Эротическая притягательность объекта страсти, волнующая внешность, душевные страсти, от самых восторженных до самых мрачных, в русской литературе представлены достаточно широко и подробно. Русская литературная традиция знает (во всяком случае, знала раньше), что техническое описание процесса совокупления, физиологические подробности, занимающие такое важное место в литературе западной, да, впрочем, и восточной, не могут передать внутренних ощущений, эмоций, переживаний героев. Технические упражнения, телесная эквилибристика – необходимая и прекрасная часть любовного акта, – остаются за рамкой текста, возможно, потому, что они не индивидуальны, неличностны, предсказуемы, механистичны, повторяемы, воспроизводимы, заранее известны, они суть часть Большой Природы и сами по себе не отмечены таинственным отпечатком этического, личного, интимного божества. Совокупление роднит нас с животными, с растениями, с рептилиями, с безличным родовым началом, с морем, которое «теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет». И недаром Гуров вспоминает о безымянных женщинах, которые прошли через его жизнь до встречи с Анной Сергеевной, так: «...и когда Гуров охла-

девал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую».

Совершенно неважно, по большому счету, что Гуров и Анна Сергеевна «согрешили», и если кто-либо хотел бы подробностей того, как именно это происходило на юге и на севере, никому не возбраняется пустить в ход воображение и представить себе любые, самые смелые акробатические кувыркания. Здесь нет тайны – вот и нечего описывать. Тайна – в том преображении, в том превращении, в том непонятном и беспричинном, что случилось с героями, и замечательно то, что Чехов ее **ТОЖЕ НЕ ОПИСЫВАЕТ**. Он не может ее описать, как не может, не способен, не в состоянии описать ни один из самых гениальных писателей. Ибо это есть Чудо, это выше всякого понимания, и описать этого нельзя.

Чехов делает то возможное, что доступно писателю: он описывает состояние «до», и состояние «после» того, как кто-то словно бы постучал в дверь. Рассказ делится на две, почти одинаковые половины, зеркально отраженные одна в другой: юг – север, холод – тепло, пустота – полнота, неживое – живое, равнодушие – сердцебиение, нелюбовь – любовь. И в первой, и во второй половинах рассказа плачет в гостиничном номере женщина, а мужчина ест, дожидаясь, пока она закончит это делать. Но если в начале рассказа, до невидимой черты, в комнате присутствуют «скука», «раздражение», «уныние», «печаль», то в конце их место занимают «прощение», «сострадание», «искренность», «нежность», «любовь».

Этот невидимый переход, этот неслышный «стук в дверь», это посещение – одно из самых поразительных описаний того, как между нами, неразличимый внешним зрением, ходит ангел любви; одна из самых достоверных фотографий, на которой ничего не изображено, но все отчетливо видно.

Вопреки расхожему мнению, неглубокому, как все расхожее, любовь существует не для продолжения человеческого рода. Одного взгляда на человечество достаточно, чтобы убедиться, что человечество, так же как и весь животный мир, прекрасно размножается без всякой любви, исключительно благодаря физиологическому инстинкту. Во всех обществах, во всех культурах любовь и брак существовали отдельно, сливаясь в одно только при исключительно редких и благоприятных обстоятельствах. Это не говоря уже о том, что во многих культурах любовь как условие для брака просто запрещается, и для обеспечения этого запрета жених и невеста не имеют права видеть друг друга до свадьбы. Любовь часто бежит брака, любовь тяготеет браком, и о каком размножении можно говорить при любви гомоэротической? Традиционное общество неодобрительно относится к такой любви, а также ко всем «странным» видам любви, например, к любви к предметам (это сразу называется фетишизмом и рассматривается как нечто не вполне здоровое), к животным, к искусству, наконец, к Богу. Влюбленный ведет себя антисоциально, нарушает установившиеся табу, разрушает семьи, причиняет горе невинным детям, убивает, кончает с собой, повинувшись миллион раз описанной, но все еще не уясненной потребности делать так, а не иначе. Со стороны он выглядит странно, глупо и даже иногда неприятно. Поставить себя на его место может только тот, кому знакомо это чувство изнутри, да и то это сочувствие здорового больному. Чувства любящего обостренно-индивидуальны, он видит и слышит иначе, чем другие, он действительно словно болен, но заразить своей болезнью он может лишь тот объект, на которого они направлены. Подменить объект нельзя, ведь он тоже совершенно уникальный, и, например, близнец любимого существа нам не годится, хотя бы он был неотличим от любимого.

Оскорбительное, и, скажем даже, тупое бесчувствие «здорового» по отношению к «больному» сказалось в том непонимании, которым встретил чеховский рассказ его современник. Лев Толстой. 16 января 1900 года он записал в дневнике: «Читал „Даму с собачкой“ Чехова. Это все Ницше. Люди, не выработавшие в себе ясного мирозерцания, разделяющего добро и зло. Прежде робели, искали; теперь же, думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются по сю сторону, т. е. почти животные».

Это – поздний Толстой, воображающий, что «миросозерцание» может удержать от порыва страсти, осуждающий природу за то, что она – природа, а не ясная, разумная позиция. Впрочем, на то он и поздний, на то и старик, на то и Толстой: уже тридцать лет как он сам борется с живыми страстями, сначала своими собственными, а потом и с чужими, но победить никак не может. Удивительна же эта запись потому, что принадлежит перу автора «Анны Карениной», поставившего к роману эпиграф: «Мне отмщение, и Аз воздам», а теперь забывшего, что воздаст, действительно, Бог, а не перегоревший и много грешивший старик из Ясной Поляны. Удивительна она и потому, что усмотреть в отношениях чеховских персонажей ницшеанство и торжество животного начала может только безумный. Или, наоборот, слишком разумный человек, разумный до бесчувствия. Словно бы Толстой не прочел чеховскую фразу в финале рассказа: «Прежде, в грустные минуты, он [Гуров] успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...»

Однако надо вернуться к вопросу, заданному нами в самом начале: почему же в равнодушии природы – залог спасения? Спасения от чего? В чем гибель, от которой мы хотим спастись?

И ответ, как ни странно, будет такой: гибель – в любви. Равнодушие природы – залог спасения от любви, обещание, что все пройдет, и любовь тоже пройдет.

Недаром, недаром этот рассказ так мучительно волнует, так неуловимо печален, так воздушно прослоен оговорками, недомолвками, оброненным то тут, то там странным, неожиданным словом, словно бы попавшим в текст по ошибке. Это – Чехов, двухслойный, трехслойный, не дающийся в руки, как отражение на воде. Чехов, никогда ничего не утверждающий, не дающий клятв и не осуждающий, отменяющий только что сказанное, перетекающий из одного невидимого сосуда в другой, едва заметный глазу; это Чехов, прихотливо, как дым, меняющий свое направление, упорно и постоянно превращающийся, словно по законам некоей химической реакции, про которую мы все время забываем, хотели бы забыть. Никогда Чехов не написал ни одного рассказа на тему: «поженились – и жили счастливо», это для него невозможно. В самом сердце счастья зреет горе, в самом желанном и блаженном чувстве заложена гибель самого чувства; из каждого начала виден конец.

«Вы должны уехать... – продолжала Анна Сергеевна шепотом. – ...Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!»

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива».

«Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей как воры! Разве жизнь их не разбита?»

«Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы нелепо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец».

«Потом они долго советовались, говорили о том, как избавиться себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видаться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?»

– Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. – Как?»

Никак. Спасение – в забвении, в смерти чувства, в смерти любви. Спасение в том, что «так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет». Спасение – в полном равнодушии древнего, как мир, моря к жизни и смерти каждого из нас. «Непрерывное движение жизни на земле, непрерывное совершенство» возможно не для отдельного человека, а лишь для расы людей,

для множества таких разных и таких похожих, таких повторяющихся женщин и мужчин, с собачками и без собачек, плачущих о своей земной клетке, о жажде счастья, и терпеливо переживающих эти слезы. Спасение в том, чтобы выпасть из мучительной и чудесной ловушки, в которую неизвестно почему поймал тебя тот, кто постучал в дверь, в том, что выход есть, выход горький, двусмысленный, выход через смерть.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки, – подумал он и стал засыпать». С этой мыслью Гуров выпускает Анну Сергеевну в свою жизнь, с этой мыслью, может быть, он и проводит ее, когда настанет срок, потому что «все это должно же иметь когда-нибудь конец», и дверь открыта, и нужные слова лежат наготове. Дерево еще в цвету, но секира лежит у корней.

Всмотревшись в текст, мы с ужасом обнаруживаем возможность смерти, ее тень, трупные пятна, проступающие сквозь цветущий румянец: да, несомненно, они тут. Эта мысль невыносима для сердца, мы не хотим, чтобы умерла любовь Гурова и Анны Сергеевны. Мы очень просим кого-то, чтобы этого не случилось. Ведь это едва ли не единственный рассказ Чехова, где люди, наконец, глубоко полюбили друг друга. Но Чехов двоится и ускользает от ответа и здесь: смерть возможна, но не обязательна, может быть, ничего плохого и не случится, может быть, эти двое удержатся и не умрут, может быть, только они двое и окажутся бессмертными... во всяком случае, времени еще много, путь еще долог. «И казалось, что еще немного – и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь: и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается». Этой двусмысленной в каждом слове, «муаровой», одновременно безутешной и утешительной фразой заканчивается рассказ.

Через одиннадцать лет после Чехова, когда писателя уже не было на свете, другой писатель, Томас Манн, пришлет другого персонажа, Ашенбаха, умирать у другого моря, в Венецию. С Ашенбахом тоже совершенно неожиданно случится прекрасное и ужасное событие: он полюбит, тоже впервые в жизни, и эта любовь, запретная и разрушительная, не найдя себе выхода, убьет его. Люди решат, что убила его болезнь, невидимо идущая по городам и побережьям, но люди всегда все видят неправильно. Перед самой смертью «...ему чудилось, что бледный и стройный психагог издалека шлет ему улыбку, кивает ему, сняв руку с бедра, указывает ему вдаль и уносится в роковое необозримое пространство».

В то море, наверно, куда все когда-нибудь вернутся?

Небо в алмазах

Очевидцы в один голос описывают изумительную погоду, стоявшую в ту ночь, когда самый большой плавающий предмет из созданных человеческими руками, «Титаник», на полном ходу неся по водам Северной Атлантики – из Саутхемптона в Нью-Йорк. Было 14 апреля 1912 года, близилась полночь по местному времени. Океан лежал гладкий, как пруд, как лужа черного масла, как зеркало. Прозрачность ночного воздуха была такой, что звезды, – казалось, их было больше, чем темных участков на небосводе, – заходили за горизонт не сразу, а как будто частями, по четвертям. Было воскресенье. Кто-то уже уютненько спал, кто-то сидел в кресле с книжкой, в Кафе Парижен шла небольшая вечеринка для своих, в курительной комнате собрались игроки в бридж. Двадцать новобрачных пар упивались радостями медового месяца. В кабине второго класса глупая баба, мать семилетней Эвы Харт, опять принялась за свое: отоспавшись днем, она уселась ждать, когда корабль потонет, и так четвертую ночь подряд, господи. Ей же говорили, объясняли, что этот корабль – непотопляемый, так нет же, она заявила, что это – вызов Богу, что таких слов произносить нельзя, что корабль никогда не доплывет до цели, а потонет, и непременно ночью. Харт, строитель, ехал с семьей в Виннипег начинать новую жизнь в Новом Свете, и дурь жены его раздражала.

В этом году в Арктике установилась необычно теплая погода – тридцать лет такой не было, и от ледника, толстой корой сковавшего северные воды, одна за другой стали откалываться ледяные горы. Холодное течение Лабрадор относило их к югу, где погода была холоднее, чем на севере, – такое вот явление природы – и айсберги не таяли. Из Европы в Америку тем же маршрутом шло много кораблей. Встречая на пути айсберг, капитан судна посылал радиogramму (маркониграмму, как тогда говорили) капитанам других судов. Чудесное изобретение господина Маркони – «беспроволочный телеграф» – было, конечно, установлено и на «Титанике». Но капитан «Титаника» Э. Дж. Смит не очень волновался – ведь его корабль был непотопляемым, не то что другие. Так что новинка техники в основном использовалась для того, чтобы пассажиры могли послать радиogramму друзьям, похвастаться, что плывут на самом большом, самом роскошном, самом удобном и безопасном корабле в мире. Радиogramма стоила недешево, но на «Титанике» было много людей, которые могли себе позволить невинное удовольствие подразнить приятелей и родню: мы плывем, а вы нет. Жаль, что вас нет с нами. Завидуйте. Посланий скопилось столько, что радист Филипп еле управлялся отстукивать приветственную морзянку. К вечеру радиосигналы особенно хорошо и далеко проходили, поэтому всякие глупые сообщения о встреченных айсбергах его стали раздражать. Еще в 9 утра 14 апреля пришло сообщение – он передал его капитану. В 11:40 – еще одно. В 13:42 – еще. Передал и это. Сколько же можно? И когда через три минуты, в 13:45, пришло очередное сообщение, Филипп и передавать его не стал.

Мать Эвы Харт не зря боялась гнева Господня; как известно, когда Бог хочет погубить человека, он лишает его разума. Так, капитан Смит последнюю из полученных им маркониграмм не объявил команде, а взял с собой, идя на ланч. По дороге он встретил председателя компании «Уайт Стар» Дж. Исмэя и, как бы лишившись разума, отдал ему. Тот, по тому же необъяснимому сценарию, сунул сообщение в карман, где оно и провалялось пять с половиной часов, до ужина.

Капитана Смита на последний ужин в его жизни пригласила чета Уайденов. Они были богатыми людьми: у Эленор Уайденов, например, было жемчужное ожерелье стоимостью 4 миллиона долларов на теперешние деньги. Ужин был изысканный, а-ля карт. В ресторане было тепло, а снаружи температура быстро падала: корабль на всех парах неся к ледяным полям. В 19:30 пришла еще одна радиogramма. Помощник радиста Брайд отнес ее на капитанский мостик и кому-то сунул, но кому – после не мог вспомнить. Наконец в 21:40 пришло

сообщение с корабля «Месаба». Оно содержало точные координаты того айсберга, до которого «Титанику» оставалось ровно два часа ходу. Филипс отбросил маркониграмму в сторону. Разум покинул и его. В 23:00 громкий сигнал с «Калифорнийца» прервал увлеченного работой Филипса: «Калифорниец» сообщал, что встал во льдах. Разъяренный Филипс отбил в эфир: «Заткнись, заткнись! Ты глушишь мой сигнал!» – и вырубил помеху прежде, чем радиооператор успел сообщить свои координаты. Тот прождал еще четверть часа, но связи не дождался.

Температура упала ниже нуля, море было, как черный шелк, и Лоренс Бизли, самый поэтический пассажир, с чувством космического восторга и ужаса смотрел, как купол неба, перевернувшись, отражен в зеркальном противокуполе воды: словно бы моря и вовсе не было, словно бы корабль, сияя огнями десяти палуб, несется в алмазной бездне, полной миллиардов огромных немерцающих звезд.

Непревзойденная роскошь

Не только Уайденеры и капитан Смит хорошо покушали перед смертью в ресторане а-ля карт; сервис в обычном ресторане первого класса тоже был прекрасным. 14 апреля подавали обед (то есть ужин) из семи перемен: устрицы, филе миньон, куриное соте, утка, паштет из гусиной печени, спаржа и многое другое; четыре вида десерта – например, персики в желе из шартреза. Второй класс (девочку Эву, ее нервную маму и спокойного папу) тоже не обидели: прозрачный суп, рыбное блюдо, на второе – на выбор: курица с рисом и карри, или весенний барашек, или жаркое из индюшки с овощами. На десерт можно было взять кокосовый сэндвич, а можно – винное желе, а то – американское мороженое, а не хочешь – бери плам-пуддинг. Потом, конечно, орехи, фрукты, сыр, печенье, кофе. У третьего класса выбор блюд был поменьше, зато порции огромные. На «Титанике» были две самые большие в мире плиты, каждая с 19 духовками. Да что там, корабль вез 75 000 фунтов мяса, 11 000 фунтов свежей рыбы, 2 и 3/4 тонны помидоров, 50 ящиков грейпфрутов, луку, спаржи, сливок, винограда, лимонов без меры и счета, 1000 вилок для устриц, 2000 ложек для яиц всмятку, 1500 – для горчицы, 400 щипчиков для спаржи, 1500 вазочек для суфле. Одних ножей для разрезания гроздьев винограда было сто штук. Сорок пять тысяч столовых салфеток. Восемьсот пуховых одеял. Пятьдесят тысяч пятьсот полотенец общим счетом. Все кухонное оборудование – миксеры, разрезалки, машинки для очистки картошки (ее взяли 40 тонн), мясорубки и прочее – было электрическое. Электричество еще считалось модной роскошью, им было оснащено все, что можно было оснастить. 10 000 светильников, 48 часов, 1500 звонков, почтовые и пассажирские лифты, 8 палубных кранов, турбины, вентиляция, беспроводный телеграф; утюги, холодильники, нагреватели для воды, паровые свистки – все. Был установлен специальный таймер на случай густых туманов, чтобы свистки автоматически подавали сигнал каждые восемь – десять секунд, и для нервных пассажиров (вроде мамы Харт) были предусмотрены крошечные электрические ночнички, уютно горевшие в ночи наподобие свечек. «Титаник» был оснащен как лучший из возможных отелей или даже как маленький плавучий город. У корабля было 10 палуб, длина его была 882 фута 9 дюймов; водоизмещение – 66 000 тонн, мощность – 46 000 лошадиных сил. Впрочем, простому пассажиру, не знакомому с тонкостями кораблестроения, мощность или лошадиные силы ничего не говорят, а вот 300 штук щипцов для орехов, или 100 полоскательниц, или 5500 тарелок для мороженого представляются зримо, равно как и мебель в стиле трех Людовиков (а также в стиле итальянского Ренессанса, ампира, регентства и так далее), турецкие бани (и при них залы для «остывания» в арабском стиле XVII века) и зал для физических упражнений с аппаратами, имитирующими процесс гребли, езду на велосипеде и скачку на коне. Никто прежде не видывал такой роскоши на корабле, чем и гордилась компания «Уайт Стар». У конкурирующей компании «Кунард» корабли были, может быть,

и быстрее, но поплоче, а главное, «Титаник» ведь был непотопляемым. Корпус корабля был двойным, наружная оболочка была сделана из стали дюймовой толщины, внутренняя – чуть тоньше, между ними мог спокойно пройти человек. На корпус пошло три миллиона железных заклепок, из них полмиллиона (весом 270 тонн) – только на днище. Корабль был разделен на 16 водонепроницаемых отсеков, разделенных 15-ю переборками. В переборках были расположены водонепроницаемые двери, приводившиеся в движение все тем же электричеством. В случае если корабль получит пробоину, капитан одним поворотом выключателя приведет двери в движение, и поврежденный отсек будет изолирован от остальной части судна. Даже при двух полностью затопленных отсеках корабль останется на плаву, – восхищались газеты, в том числе и специализированный орган «Кораблестроитель». О том, что будет, если вода затопит хотя бы три отсека, как-то не говорилось.

Предчувствия и предсказания

Приятно нестись сквозь ночь по гладкой воде при хорошей погоде, – только легчайшая дрожь корпуса, потому что там, внизу, работают мощные турбины, – но к этому быстро привыкаешь. Да и вообще жить хорошо и приятно. Едем на новом, надежном корабле, воплотившем все достижения цивилизации. Войны нет, а скоро и вообще войн не будет. На корабле, например, едет знаменитый журналист Уильям Стэд – едет на конференцию в Америку, чтобы сделать доклад о прекращении войн во всем мире навсегда. Первый класс доволен жизнью, потому что богат, второй и третий – исполнены надежд на новую жизнь в Новом Свете. Многие сначала зарезервировали места на другие судна, но из-за забастовки угольщиков пароходы не ходят – угля нет, и пассажиров, к их восторгу, перевели на «Титаник». А третий класс на «Титанике» роскошней, чем первый на других судах! Повезло! Всего на корабле едут 2207 человек, включая команду. Это на 1000 с лишним человек меньше, чем ожидалось, и пароходная компания этим, понятно, несколько огорчена. 55 человек в последний момент отменили резервацию на корабль. Причины самые разные: у кого жена растянула лодыжку, кто опоздал, один член команды нанялся на корабль и на радостях так напился в кабаке, что его обокрал завистливый собутыльник: вытащил у него документы и сам явился на судно под фальшивым именем. Проспавшись, обворованный матрос долго материл свое невезение, грозил кулаком горизонту и с горя пил еще месяц, прежде чем вернуться домой к маме.

Но немало было и тех, кто, подобно миссис Харт, был внезапно охвачен страхом и мистическими предчувствиями. Кто-то просто не доверял новой технике и необкатанному судну, но одна филладельфийская пара, например, предвкушавшая морское путешествие на роскошном новом лайнере, поменяла билеты после того, как жена внезапно почувствовала необъяснимый ужас и, к неудовольствию мужа, умолила его сестру на другой корабль. Мать фермера, собравшегося эмигрировать в Америку, три ночи подряд видела сон, что корабль тонет, и уговорила сына переждать. Другой человек добился долгожданной работы на «Титанике» и уже выехал в Саутхемптон (порт отправки), но, охваченный предчувствием, вернулся домой с полдороги. На корабле ехало несколько человек, чьи матери или друзья, тоже видевшие странные сны или просто испытывавшие чувство необъяснимого страха, уговаривали их остаться, но они не послушались суеверных советчиков. И наоборот: некая миссис Бакнелл «так и знала», что корабль утонет, и не хотела ехать, но ее уговорили друзья. Накануне столкновения, за ужином, она только и говорила, что о своем страхе. Предчувствия были и у тех, кто и не собирался плыть. Самый странный из документированных случаев – предсказание некой Бланш Маршалл, которая вместе с друзьями смотрела, как «Титаник» проплыл мимо острова Уайт вскоре после выхода из Саутхемптона. «Этот корабль утонет, не достигнув Америки», – сказала она, и когда ей напомнили, что он ведь непотопляемый, воскликнула: «Разве вы слепые, разве вы не видите

сотни людей, барахтающихся в ледяной воде?» (Через три года г-жа Маршалл таким же необъяснимым образом точно предсказала гибель «Лузитании», пропоротой немецкой торпедой). Но мало того: рабочие-католики на верфи Белфаста, где строился «Титаник», увидели дурное предзнаменование в номере корабля: 3909 04, – если прочитать номер в зеркальном изображении (зачем бы это?), – то при некотором воображении можно прочесть слова: NO POPE, то есть «Без Папы» – непереносимая весть для добрых католиков. Но мало и этого: ни с того ни с сего газета «Белфаст Морнинг Ньюс» еще в июне 1911 года написала следующее: «Трудно понять, почему владельцы и строители корабля нарекли его «Титаником». Ведь титаны были мифическими существами, возмнившими, что они достигли власти и знания больших, чем сам Зевс, и это их погубило. Зевс низвергнул сильных и дерзких титанов громовыми ударами; местом их последнего упокоения стала мрачная бездна, тьма, лежащая ниже глубочайших глубин Тартара». Но мало и этого: за 14 лет до катастрофы, в 1898 году, некий Морган Робертсон написал плохой, копеечный фантастический роман, в котором корабль под названием «Титан», выйдя из Саутхемптона в Нью-Йорк с 2000 людей на борту, тонет в апрельскую ночь, столкнувшись с айсбергом, и все пассажиры гибнут из-за нехватки посадочных мест в спасательных шлюпках. Но и этого мало: тот самый Стэд, который едет на «Титанике» на мирную конференцию, сам написал роман еще в 1892 году; в этом романе тоже тонет корабль, столкнувшись с айсбергом в Атлантике. Пассажиров подбирает другое судно, капитана которого зовут Э. Дж. Смит, – точно так, как будут звать капитана «Титаника» через 20 лет. (Стэд до Америки не доедет.) Кроме того, в Ливерпуле (порте приписки «Титаника») в девять часов вечера 15 апреля внезапно и по неизвестной причине упало напряжение и отключилось электричество во всем городе почти на час.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.